

АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ

84.2Рос-Ком

Р24



ДРЕВО

15/10 *с.ав.восток*
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред выдач.

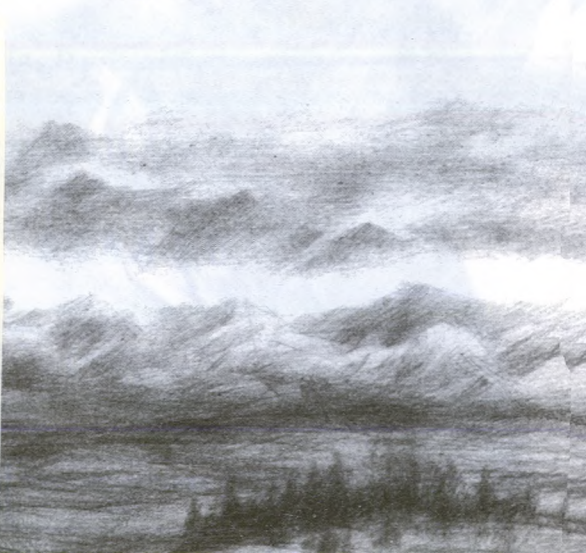
660000 2 672-90

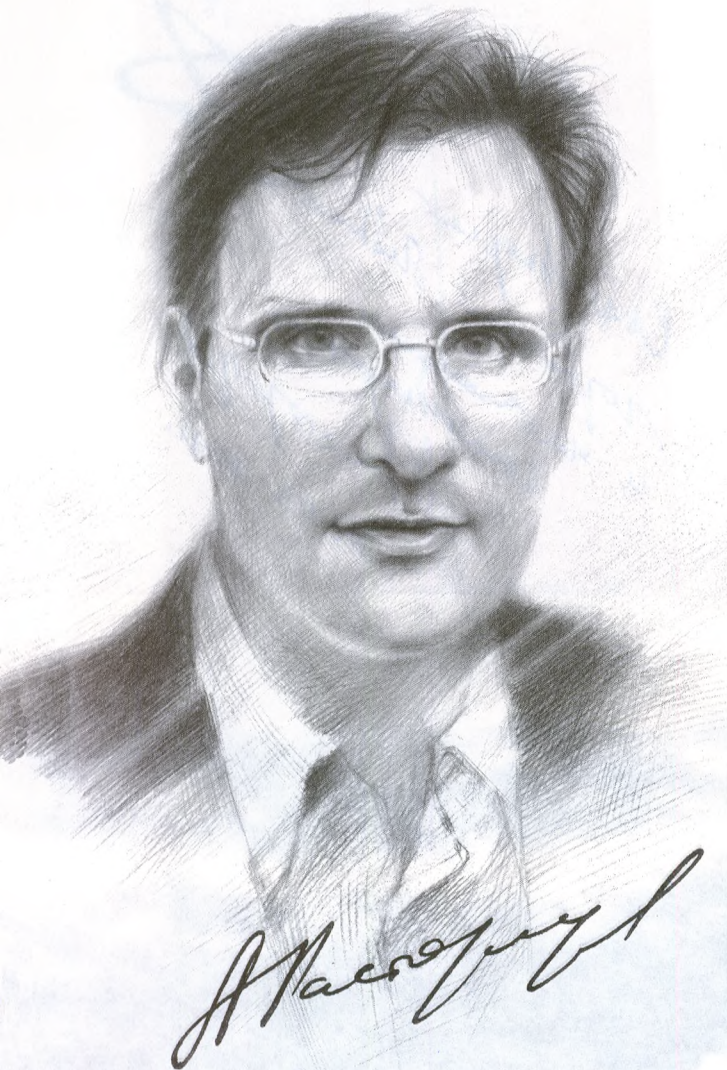
АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ



Сыктывкарская
городская библиотека
и музей имени
Сыктывкара

Анаторг
24.03.2016.





0712

84.2Рос-Ком

Р24

АНДРЕЙ РАСТОРГУЕВ

Стихи

ДРЕВО

095820

Сыктывкар
Коми книжное
издательство

2002

Сыктывкарская
ЦБС

84(2Рос=Рус)6
Р 24

Книга отпечатана на бумаге
Сыктывкарского лесопромышленного комплекса
в Коми республиканской типографии

Художник **Г.Н.Шарипков**

Расторгуев А.П.

Р 24 ДРЕВО: Стихи. – Сыктывкар: Коми книжное из-
дательство, 2002. – 112 с.

ISBN 5-7555-0756-2

В стихах сыктывкарского поэта Андрея Расторгуева, известного не только в республике, но и за ее пределами, высокое духовное напряжение, полнота умного, образного миропонимания вырастают из точных примет нынешнего и минувшего, из обостренного чувства Родины, из любви к жизни и людям, из глубинного ощущения себя в многонаселенном пространстве и времени. Его стихи в чем-то по-современному парадоксальны, в них не все очевидно, подчас в них сквозит легкая ирония, но они динамичны, раскованны, удивительно легко ложатся на музыку восприимчивой души.

84(2Рос=Рус)6

Р $\frac{4702010000 - 018}{М 128 (03) - 02}$ 19 - 02 м

ISBN 5-7555-0756-2

© Расторгуев А.П., 2002
© Шарипков Г.Н., оформление, 2002
© Коми книжное издательство, 2002



*Не упрекну неулыбчивой родины,
где что ни модная блажь – то всерьез.
Жаль только, нынче цветы у смородины
напрочь спалил неурочный мороз.*

*Жалко, что рытвины, раны и ссадины
все заровнять-залечить не могу.
Листья зеленые, как виноградины,
белою ночью на белом снегу.*

*Малая, новая, красная, белая –
плотью изрезана, сердцем цела.
А на соборах, как ягоды спелые,
гроздьями собранные купола.*

*Им, словно ягодам, мы и поклонимся,
одолевая душевную жесть,
и до земли, как до неба, дотронемся,
и успокоимся: вот она, есть!*



Высокое давление



Осень бросила казну,
ранние морозы.

Топором дрова казню
я на пне березы.

Дело вечное: коль нет
под рукой ответчика,
истребляется ответ
с ветки

да ответочка.

А земля молчит во сне —
с холода ли,

с неги.

На постельном полотне
повевают снеги.

И восходят по весне
новые побегии...

РОЖДЕНИЕ ОГНЯ

Рука не позволяла увильнуть.
Но без того, напряживая холки,
кремени упрямо бились грудь о грудь
и рассыпали яркие осколки.
Обламывались тонкие края,
старательно взаимодействуя в уроне,
и заострялись грани бытия
и прорезали души
и ладони...

И посвежело на исходе дня,
и раскрошились теплые камни.
И люди стали греться у огня,
рожденного в запале столкновенья.

ПОЛНОЛУНИЕ

I

Снова тьма просветлела,
и полночь снова не спится.
Неприкаянны думы, неясною рифмой полны...
Облака распахнулись парящими крыльями птицы,
обнимающей клювом жемчужину спелой луны
или просто набухший цветок заповедной купавы
из краев, где давно,
оживляя озимые травы,
снеговая вода протекла по земному лицу.
И теплеют небесные своды студенной державы,
до поры сохраняя в себе золотую пыльцу...

II

А вечер в полнолуние каков! —
неволей выйди на крыльцо

и пялся:
луна скользнула между облаков,
как новая монета между пальцев,
начинкою в небесном пироге
впеченная под заревые донья,
и понеслась по выгнутой дуге,
подкинута неведомой ладонью.
Над миром,

что на время пригасил
людское мельтешение и спешку,
какая-то из запредельных сил
разыгрывает нас в орла
и решку.

Ей мигом ночь, песчинкою гора,
и на раздумья времени хватает...
Как долго продолжается игра!
Неужто все орел нам выпадает?

III

Изогнулось над городом черное звездное небо —
словно в дырочки бьет

запредельный безудержный свет.
Значит, время свершить

человечьи вечерние требы
и по плечи закутаться в мягкий врачующий плед.
Там, за черной завесой, яркий поток нескончаем,
но Господь милосердно
проводит меж днями черту.

Кто Ему греет воду,
и кто Его потчует чаем?

Как Ему удастся заснуть на слепящем свету?



На Севере тучи низки и покаты.
Дороги на Север ровны и пологи –
как будто неспешно ступает к накату
земля, сберегая натертые ноги,
в несбыточной надежде, что вот – поворот
и в белые воды ступни окунет.
И утихомятятся давние боли,
затянутся раны, смягчатся мозоли,
и в недостижимой вечной глуши
излечатся тайные язвы души...
Ах, белые воды, гранитные луды –
былая мечта подневольного люда
испятнана кровью и брошена прочь.
Но плещется в лето весенняя кипежь –
восходит из вод, как затопленный Китеж,
сулящая радость прозрачная ночь...

СОФИЯ КИЕВСКАЯ

В сердце человеческого житла,
малых и великих передряг
над святой Софией – купола.
Во святой Софии – полумрак.

Здесь лежат основой из основ,
преступая вековой порог,
плиты беломраморных полов,
вытертые тысячами ног.

Полукружье выгнутых апсид,
солнечный отбрасывая блик,
в сумраке загадочно блестит
златом византийских мозаик.

И печаль в очах соединя
с кротостию вышнего посла,
посреди текучего огня
Богоматерь руки вознесла.

Но Ее молитвенный призыв
снова не доходит до людей,
и раскаты губительной грозы
слышатся все ближе и лютей.

Что корить? Такие времена –
не сойти бы с малого ума...
Во святой Софии – тишина.
Во святой Софии – полутьма.

ЛЕНИНБУРГ

Чугунный палисад,
узоры чередой –
январский Летний сад,
заполненный водой.
Второпрестольный град,
начальный рядовой –
высокомерный гранд
с небритой бородой.
Базальтовый смарагд –
не Запад, не Восток.
В теснении громад –
страданье и восторг.
Собрание мощей,
смирение и спесь...
Различнейших вещей
немыслимая смесь.



Придя на старое кладбище
в расцвете сил,
что человек досужий ищет
среди могил?
Желает вечностью отвлечься
от бытия
иль неизбежностью увлечься
отбытия?..

Где вечность и не ночевала,
покоя нет.
Вчера здесь буря кочевала,
наделав бед.
Но ураган буянил слепо –
порыв, набег...
А вон желтеет кость у склепа:
се – человек...

А за оградой – столица
и красота.
И хочется перекреститься.
Да без креста.

*Санкт-Петербург,
Новодевичье кладбище.
26 ноября 1994 г.*

В МОСКОВСКОМ ТЕАТРЕ

Второй звонок. Стихают шумы,
все ближе свет хрустальных сфер,
и волны дамского парфюма

Минув таинственную точку,
вернулись тени и цвета —
блеснула фонарей цепочка,
и загустела темнота.
Распалась морочная пульпа,
людской возобновляя бег...

А где-то далеко у пульты
закончил смену человек,
ни мимоходом,
ни подробно
не помышляя много лет,
что он, Создателю подобно,
разъединяет тьму
и свет...



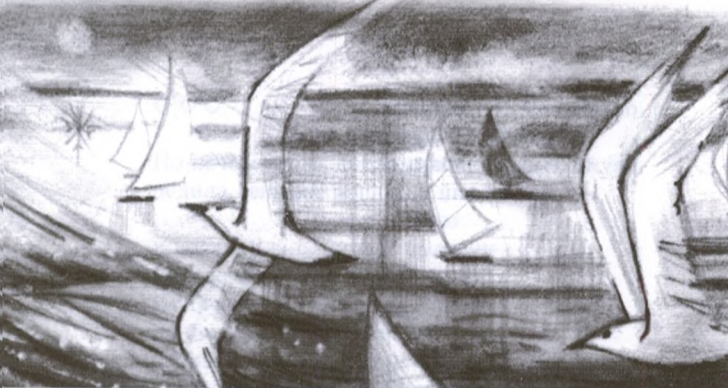
Щетинясь против мистики ежом,
людей считаю на земле за главных.
Но, очутясь за русским рубежом,
я не миную храмов православных.
Аттила умер! Снова Божий бич
в себе самой плетет Европа где-то...
На космодромных роспахах кладбищ
они стоят, как белые ракеты,
перенеся в ладонях куполов
российское молитвенное небо,
и Дух Святой, и дух ржаного хлеба,
и тихий перезвон колоколов...
И замирает ангел у плеча,
невидим за туманной пеленою.
И свист не различается бича,
летающего над нашей стороною.

оглянись — и увидишь:
ребенок задумчиво мнет
неумелыми пальцами
маленький катышек воска...

Вспомни — была жизнь!

Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!

Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!
Вспомни — была жизнь!



В нашем доме – небеса



Снова ночи белы, лето молодо.
Но едва переломится год,
ожидание зимнего холода
в отогретое сердце войдет.
Лето в силах, и травы до стремени,
но скорбящая память весны
обнажает во спеющей зелени
торопливую прядь желтизны.
И на стылые к вечеру запани
листопад обрушается вдруг.
Подымаются тучи на западе,
собираются птицы на юг.
Затихает душа неумная,
мир заснеженный будто ничей...
Но восходит над полночью темною
ожидание белых ночей!



Заря догорает, а город по улицам бродит,
сидит на скамейках и пиво из горлышка пьет.
Скажите, любезные граждане, – что происходит?
Куда на ночь глядя из дому подался народ?
Сулит новоявленный гуру соверным спасенье
и всем неусыпным наутро его подадут,
астрологи ли напрозорчили землетрясенье
и все рукотворные стены сегодня падут,
тарелку ль на небе космический разум повесил,
затмение ли солнца, луны или просто умов,
чтоб город не спал и не в темных углах
куролесил,
а с тихую радостью шел мимо светлых домов?..

В такие часы, неподвластные буднему слову,
едва ли найдется сумевший собой овладеть.
Я сам выхожу, повинуюсь безмолвному зову,
на эту бесплотную белую ночь поглядеть
и в теплом дыхании вновь находящего лета
надежные знаки грядущего дня обрести.
Но в легких неверных лучах неурочного света
опять ускользает значенье земного пути...



Такие ночи жалко просыпать –
как золото меж пальцев просыпать
и ощущать, как жизнь пересыхает,
за пядью уступающая пядь...

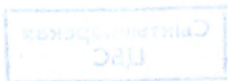
095820



Твой поцелуй подобен ласке вербы.
Ее цветок, касающийся губ,
в миру, что с нами холоден и груб –
весенний знак, опасливый, но верный.
Прохладна нерешительная нега,
в комочке настороженная плоть.
Но пробил час: зиме не побороть
упругое стремление побега...



Уж полчаса до полночи. Анапа.
Давно упал за волнами закат.
Отложены соломенные шляпы,
соломенные вдовы нарасхват.
По набережной двигаются пары,
беседы потайные говоря,
а в небесах рассыпались стожары,
в сто жарче наших, северных, горя.
Немолчен гул цикад на косогоре,
насолен дух настоев луговых.
Ласкает истомившееся море
крутые мышцы плеч береговых.
И спутник – бог, и спутница – прекрасна,
и не напоминайте про семью –
меж безднами искуса и соблазна
возможно ль удержаться на краю?





Ты смотришь на море с тоской, купаешься несмело:
и вброд не перейти его, и губы солонны...
Но в плавности воды морской я вижу плавность тела,
в изгибе тела твоего – изгиб морской волны.

Воды и камня меж собой извечное сраженье
нам продолжать, соединясь во плоти и крови.
И, соблюдая эту связь, то словом, то движеньем
ты размываешь, как прибой, подножие любви.

И отступают берега от белой перемычки,
где перемалывают страсть граниты и кремни.
И оступается нога на галечник привычки,
обломки долга, заострясь, врезаются в ступни...

Переменяют времена значки именований,
мелькает светлый окоем за полосами тьмы.
И обратятся имена в песок воспоминаний,
где мы останемся вдвоем, забытые детьми.

Мы проведем несчетно лет без голода и жажды,
лесами зарастут поля, охрипнут соловьи.
И беспокойная земля вздохнет по нам однажды,
и вновь подымутся на свет заветные слои...

Но это позже, за доской. А ныне что за дело?
Сполна отведай торжество – мы над собой вольны –
и в плавности воды морской почувствуй плавность тела,
в изгибе тела своего – изгиб морской волны!



Зима не хочет поживать
до сентября, до октября.

Она уходит кочевать
на ледовитые моря.

У самой верхней широты,

морозным солнцем осиян,

ее бескрайние плоты

бездонный носит океан...

А на земле растет трава,

да не по дням, а по часам,

и ошалелая листва

из почек рвется к небесам.

И, как настырные быки,

идут меж зубьями острог

речному току вопреки

лососи, полные молок.

И за разгулом естества

до обозначенной поры

следит полярная сова

с вершины Народной горы.

Сплетайтесь, ветки ивняка

и обнаженные тела,

пока зима издалека

не видит белого крыла...

Условный ожидая знак,

она сидит у камелька,

кормя оленей и собак

с ладони кубиками льда.

И наполняются снега,

и завершается литье.

И осязают берега

дыханье близкое ее.

СЕВЕРНАЯ КАРТОФЕЛЬНАЯ

Трали-вали, тили-тили –
незатейливый мотив.

Мы картошку схоронили,
ни слезинки не пролив.

Схоронили, заровняли,
не оставили следа.

Тили-тили, трали-вали,
трали-вали, лабуда...

Без опаски вылезают
забубенные ростки,
будто знают: вымерзают
коларадские жуки.

Скороспелый – да не ранний,
вызревает – да не вдруг.
Хоть и Север – а не крайний,
и не крайний – а не юг.

По науке, без науки –
согревается и тут,
особливо, если руки,
как положено, растут.

Робит пашенная, родит,
если сам употчевал,
если дед, а лучше прадед
целину раскорчевал.

Тили-тили, трали-вали,
полетела лебеда...
Как в России выживали
в доколумбовы года?



День сошел наполовину,
снова осени черед.
Нынче урожайный год
на картошку и рябину.
То-то знатная пожива
птице будет зимовой...
Но, качая головой,
девятьсот сороковой
поминают старожилы.
Так историю ведет,
что, научен грубой пище,
от добра добра не ищет
недоверчивый народ.
И, поля расшевелив,
с незапамятного века
упреждает человека
милосердная земля.



Плескава – ласковое слово.
Но под ее певучий плеск
на стену древнего Плескова
я, ноги напрягая, лез.
Рискуя новыми штанами
и не жалея мокасин,
я шел заросшими валами
в тени черемух и осин.
И глазу пристальному снова
под спудом гальки и травы
в аллеях парка городского
являлись крепостные рвы.

И как деления прицела,
иных не ведая начал,
забытый навык офицера
бойницы в башнях примечал...
Взбрела же в голову досада
собой в солдатики играть
и за рекою и посадом
чужую рать воображать!
Но так яснее для любого,
почто плесковская молва
всю ласку срезала до слова,
как выстрел, краткого – Пскова...



Еще не прочитанным свитком
Плутарха дорожная стелется ткань.
За дальним пригорком лежит Таматарха,
по-нынешнему – Тамань.
Унылы спаленные солнцем равнины,
но сквозь микропор сандалет
мне колют подошвы сухие травины,
под каждую – тысячи лет.

Над кем этот ястреб распахивал крылья,
суля безымянный покой?
Кто стал этой легкою тонкою пылью,
что я подымаю ногой?
Которое племя уйдет, не горя,
с земли, где приморская грань
вместила эллинскую Фанагорию
и русскую Тьмутаракань?

И чудится: скачут комонные готы.
Гляди: половецкий дозор...
Но от поворота – бетонные доты,
кабаньи глазки амбразур.
И в кровную память забытого предка,
саднящую в левом соске,
вливается свежую струйкой заметка
на мемориальной доске.

*Таманский полуостров,
мыс Железный Рог*



От нынешних рассказчиков вполне
мы не узнаем правды о войне.
Но и доживший почести достоин.
А коль тебе до правды – вот она:
клокочет ею новая война.
Испей до дна и возмоги,
коль воин...



Ой, черника-вечерника,
мои губы не черни-ка.
Малые удалые
любят только алые.
Ой, малина-малина,
платъице приталено.
Пойду с милым во лесок,
поясок – на узелок.
Земляника зацвела –
я миленка завела.

Земляника алая –
чуть не оплошала я...
Голубика голуба,
полюбила голубя.
Предложила под венец –
оказался голубец.

На гряде растет клубника.
Я – миленку: колупни-ка...
Думала, с догадкой –
обознался грядкою!

Сладка ягода ирга,
хороша для пирога.
Но мы ее с миленочком
подсластим маленечко!

Вышел милому приказ
отправляться на Кавказ.
Соберется – будем делать
ребятенка про запас.
Пусть родится сыночка –
тоже ягодиночка.

Что ни пьянка, то ругня,
что ни волость, то грызня:
то чеченские набег,
то албанская резня.
Ой, ты, волчья ягода –
едова, да ядова.

Ой, калина-калина,
отпади, окалина.
Женка я бедовая,
ничего, что вдовая!

Ой, рябина-рябина,
жизнью покарябана,
солена да перчена –
а я гуттаперчева.
Так рябина рожена –
слаще, коль морожена...



Живем недолго –
от долга к долгу:
жене, родне...
Стране – вдвойне.



*«Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки..?»*

О.Мандельштам

По ночам поэты дают лбы:
что-нибудь пророческое бы –
как-никак венец тысячелетия
и переломление судьбы.

А судьба куражится навзрыд:
всякий век могилами изрыт,
в неминуем вихре лихолетия
всякая душа перегорит.

И слабеет гордый человек,
и душа пускается в побег.
И пятнают бурые отметины
на пути ее колючий снег...

Но опять клонится голова,
и опять находятся слова,
а нейдут слова – так междометия.
И надежда вечная – жива!..

А пробьет оно, тысячелетие,
все слова окажутся – трава.



За годом год, за словом слово.
И на исхоженном пути
пришел и мой черед войти
в года Христа. И – Пугачева.

Какие ни сули авансы
на мирозданный передел,
один у Господа предел
для Сына – и для Самозванца.

За поколеньем поколенье
Он в уповании Отца
щадит ранимые сердца
и не доводит до конца
ни просветленье, ни затменье.



В нашем доме потолки высоки,
да как будто повело косяки,
и в засеченных углах пауки
дожидаются хозяйской руки.

А хозяин то ли веки смежил,
то ли руки золотые сложил,
то ли порвана какая из жил,
то ли просто набирается сил.

То ли застила глаза пелена,
то ль нескладная попалась жена,
то ли снова от темна до темна
за околицею бродит война.

И расходится на колья забор,
и под каждую полою – топор,
на дверях и душах крепок запор,
передернут затвор.

В нашем доме потолки высоки,
да как будто повело косяки.

Или просто мужики – босяки?
Иль у Господа мы все – штрафники?

В нашем доме небеса высоки...



Ночь еще не бела,
но за окнами мгла
побледнела от майского снега.

Неурочный рассвет –
из надежных примет
наших северорусских тишин.

Здесь погода груба
и сухая крупа
только снежная падает с неба.

Но душой человек
прирастает навек,
не взыскуя иных палестин.

А кому – вотчин,
тем Север – отчим,
хотя и прочим он – не родня.

И не прилосил,
не прилососил,
а приморозил-таки меня...

Но однажды с утра
посредине двора

задымится над ветками зелень,
и уже ввечеру
на высоком яру
зацветет молодая трава,
и от дачных теплиц
ты за криками птиц
устремишься на новую землю...
Не гляди на юга,
там не те берега,
это – северные острова.

А если в прозе,
да на серьезе,
да на морозе, то болтовня.

Затем и шутка,
затем и шубка.

Скорей, голубка, согрей меня!

Обиды бросьте –
мы здесь не гости.
Хоть на погосте – да не за страх.
Покуда сеем,
покуда Север –
живет Расея на северах...



Ни заплатами, ни латами
наших дыр не залатать...
Возле города Алатыря
слезы точит Божья мать.
Пробиваются, бегучие,
из подземной глуботы,
не горячие – горячие,
холодны до ломоты.
И приходят, и купаются

люди грешные в воде,
и грехи их искупаются
по молитве и беде...

Так в земле моей и водится
с Покрова до Покрова:
пока плачет Богородица,
моя Родина жива.



Нитка рябиновых бус



Капелью прозвенит весенний час,
и встрепенется молодое пламя,
и льется жизнь несчитанными днями:
какая пропасть времени у нас!

И вдруг оборотятся воды льдами,
и ляжет на дорогу скользкий наст.
И ангел охраняющий предаст.
И ни одна душа не передаст,
какая пропасть времени под нами...



Жизнь моя все дальше от начала...

Ночью снова дочка закричала.

Закричала, маму позвала

и опять затихла за стеною.

То ли что привиделось дурное,

то ли трудный день пережила...

И жена вздохнула: между нами,

дорогой, ты тоже временами

ночью начинаешь голосить.

Вся в тебя – неугомонной крови.

Знать, покоя не было свекрови...

Вызнал бы.

Да некого спросить.



Бабьим летом, на сытой ярмарке

в яр да морочный раскардаш

продавал наливные яблоки

избоченившийся торгаш.

С прибауткою да прихваткою

все нахваливал, зазывал

и промеж разговора бабкою

громко маму мою назвал.

Будь варначьи дела посильными –

обязательно бы убил...

Будь те яблоки молодильными –

обязательно бы купил.



Неумолимость перемены дней
и недругу постигнуть не желаю.
И все же небеса благословляю
за угасанье матери моей.

Неотвратимо, но и не спеша,
она восходит к запредельной двери.
И с горькой неизбежностью потери
устало примиряется душа.

И сердце выносимее болит,
когда стоят перед глазами двое:
та, что склонялась в детстве надо мною,
и та, над кем склониться предстоит.

И прежнюю в могилу положить –
не пережить...



Дети в подвижные игры играли,
нитку пластмассовых бус разорвали:
дернули сильно, и вышел конфуз –
лопнула нитка пластмассовых бус.

Горстка пластмассовых бус раскатилась.
Я рассердился, и ты рассердилась:
дескать, какой отвратительный вкус,
эка досада, скажите на милость –
горстка дешевых пластмассовых бус...

Люди иные, и время иное:
мама склоняется вновь надо мною,
градусник ставит и щупает пульс.
Я – как в тумане, но за пеленою –
тонкая нитка рябиновых бус...

Неукротимо движенье природы:
падают стены и рушатся воды,
слышится чрева подземного хруст...
Что перед ней наши хрупкие годы?
Тонкая нитка рябиновых бус...

Скушав на полдник французскую булку,
дети пойти собрались на прогулку.
Но я заметил, как дочка в шкатулку
бросила пару рябиновых бус...



*«...и оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей...»*

Евангелие от Матфея

То ледоход, то снова ледостав.
Но бытие до дна не застывает.
И время в корни безымянных трав
течет из сердца, не переставая.

И чертится рубеж за рубежом:
труды посева – праздник урожая...
И вдруг проснешься в городе чужом,
и на постели – женщина чужая.

Ты прилепился к ней уже давно,
опору в одиночестве стяжая...

А в небе, точно старое кино,
мерцает проплывающая стая.

И недоумевающий упрек
скользит в холодном воздухе, не тая...

Но к той, кого оставил, улетаю,
земных уже не сыщется дорог.



Тридцать три – не распятие. Просто людская гордыня,
изумленная тем, что не может достичь высоты,
наши плотские сроки намеренно располовина,
ожидает: вот-вот над горой замаячат кресты,
и на теле взойдут очертанья убийственных меток,
и награду объявят – не серебро, так чечеву;
и терновый венец, заплетенный из пихтовых веток,
прикоснется к язвимому тайною мыслью челу.
Эта мысль пробивается из колыбели исподней,
и струится во взоре томительный жертвенный дым.
И любая из ран представляется страстью Господней,
и во всяком из градов мерещится Ерусалим...
Но однажды сойдет заболевшая мать в домовину
и родное гнездо перекроет железная дверь.
Вот когда испытаешь нежданную ту половину,
где отсчет обретений сменяется счетом потерь.



Памяти Анатолия Смирнова

На последней подушке, в беззвездную ночь отходя,
он лежит на песчаном краю набегающей Леты,
а земля ожидает пришествия нового лета
и глотает последние капли дождя...

Не одалживал мысли, за словом не лазал в карман.
Но прощание наше являет бессилие слова.
Провожатые стали стеною и смотрят солово –
не понять, кто от горя, кто попросту пьян...

Приближается лодочник, ловко толкаясь шестом.
И – развязаны руки!

Да свод запечатан крестом...



За уроном – уроном.

Снова чаша наполнена к тризне...

Скорбный час похорон –

новый повод подумать о жизни.

И взаправду хранить,

хоть из памяти время изгладит,

и по-новому жить,

и с людьми и собаками ладить,

и, усвоив завет,

что не все в человеческой власти,

каждый Божий рассвет

принимать как нежданное счастье –

чтобы в час похорон,

незаметное или большое

помятая добром,

люди не покривили душою...



Пока душа не просит воли,
ее движения тихи.

И только судорогой боли
в ней пробуждаются стихи.

Утрате музыкою вторя,
она возносится, чиста...

Пока душа не знает горя,
ей не доступна высота.



Страшусь, что дети вырастут. Страшусь,
что имя наше оборвется ими,

что мы с тобой окажемся чужими...

И от немого ужаса бешусь.

Вращение планеты не унять,

и мы иному времени внимаем,

когда сплетенных тел не разнимаем,

дыхание стараясь уравнять.

И все-таки проскальзывает меж

телами неразнятыми опаска,

что эта озаряющая ласка

бездонную утаивает брешь,

что если плоть годами охладим,

остынут и несросшиеся души...

Как вытянулись дочери...

Послушай,

давай еще ребеночка родим!

БАЛЬЗАМ

*«...Они жили долго и счастливо,
и умерли в один день...»*

Я с тобою умру.
Осязание да не обманет.
Мыщ надолго не сносит
безддушный костяк...

Мы нашлись
или просто сошлись во текучем тумане,
что клубится в мирских новостях?

Не гадай об ином.

Мы с тобой сопряглись воедино
так, что режет артерии

скрежет вагонных колес.

И когда говорю: половина –
то всерьез.

Без тебя целый мир
не целим ни единою гранью:

рожь половиною кажется,

чистое золото – ржой,

в полусонной полуночи

мечется полужеланье,

и ему не исполниться

плотью чужой...

И скользит по сосудам,

не зная виновных и правых,

а попробуй разрезать –

тягуче смыкается вновь,

загустелый бальзам

на меду и целительных травах.

Это – наша любовь.

И когда на исходе

расстаться Всевышний присудит,

раствориться

в промытом весенней водою песке,
мы с тобою продолжимся
в этой мерцающей сути –
или в этой строке.



У пристани Хароновой ладьи
не пей, моя любимая, из Леты.
Повремени, в груди не охлади
ни светлые, ни темные заметы.

Превозмоги стремление души,
слагающей телесные одежды,
водою неживою заглушить
страдания земные и надежды.

Хотя благословенна тишина,
что станет бесконечною отныне.
Хотя не смертью – старостью страшна
жизнь во второй, печальной половине...

Прости мои невольные грехи,
потворство человеческой природе.
Прости мои нескромные стихи,
что я читал при всем честном народе.

Прости – но не забудь, не услади
забвением свой дух неосязаем...
Иначе как друг друга мы узнаем
у пристани Хароновой ладьи?



Дети каланхоэ



Рассвет все медленней новится,
и замечаешь, сколь он част...
И все трудней остановиться.
И все правей Экклезиаст.



Ты – не Та. Ты из плоти и крови,
ты понятна, близка и щедра.
В нашей неосторожной любви
наступила земная пора.

Если ангелов пение смолкло,
запевают житьё-бытиё:

вот на кухне жужжит кофемолка,
вот машинка стирает белье.

Пес на шумных соседей загавкал,
дети ссорю увлечены...
Хоть не семеро в доме по лавкам,
не дожидаться и здесь тишины.

Но когда – то светло, то печально –
неизбежная ночь настает,
на плите закипающий чайник,
словно ангел-хранитель, поет.



Снова потратили в отпуске тысячу баксов.
Снова затягивать пояс до новой зарплаты.
Что тут поделаешь, ежели Север неласков,
дети хворают, а мы ни бедны, ни богаты?

Господи Боже, как осточертела Анапа –
суетный пляж и заросшая зеленью бухта!
Но принимаю как неотвратимое: надо
вывезти дочек на солнце и свежие фрукты.

Скиснет вино молодое в пластмассовых банках:
мы ведь не пьем – отпиваем из разного сорта.
Август рассыпался грушами на полустанках,
яблочный Спас над шоссе ароматом апорта.

Мимо базаров рулишь по кубанским станицам –
жалко до слез, что в багажнике мало простора.
Скоро над ними гусиным лететь вереницам,
что по весне обживают лесные озера.

Пусть и Анапе помашет гусиная стая,
где, как хозяин, курортного ждущий сезона,
наши монетки рачительно перебирая,
Черное море ворочаться будет бессонно.



Войду в литую воду, поплыву,
морскую плоть руками раздвигая –
волна передо мною наяву
откроется, как девушка нагая,

но, чуждая земному существу,
перетечет, объятий избегая.
И тотчас, по родству иль волшебству,
на перемену явится другая...

Когда чередовая круговерть
оборотит бегучее во твердь,
в бокал фанаторийского плесну я.

И сквозь леса и степи напролет
во мне опять искрою оживет
соленое касанье поцелуя.



Деревья снова в куржаке
предновогоднем.

Старик в широком кушаке
пройдет сегодня.

Пройдет рассудку вопреки,
не по науке.

Не дети мы, не чудаки,
а все же внуки...

И на двенадцатый удар
бокалы – звоном,
и завершится календарь
над телефоном.

И жизнь покажется нова,
и в доме нашем
мы обыдённые слова
впервые скажем...

И снова за полночь вдвоем
по заполошной
бессонной улице пойдём
гулять на площадь.

И елка будет зелена,
и пряник розов,
и ночь веселая полна
дедов Морозов...

И разглядеть я не смогу
в огне ракеты,
какие посох на снегу
оставил меты...

31 декабря 2000 г.



Ничем само себя не меря,
течет бессмысленное время.
Хотя с чего оно течет,
когда не существует счет?

Исправно крутится планета –
сменяются зима и лето,
но светом свет не наделен,
покуда не одушевлен.

И как самосознание мира
звучит орфическая лира,
и, как вселенская душа,
поет свирель из камыша.

И рассветает мерный стих...
Хотящий да услышит их.



Время сызнава глухое:
проживаю – не живу.
А на кухне каланхоэ
сеет мелкую детву.
Десантируется чадо,
зная, что для жизни надо,
и, нащупав слабину,
лезет корнем в глубину.
Тянет стебель, арапчонок,
к материнскому плечу...

Может, зря своих девчонок
нотной грамоте учу?



То ли времени вдогонку,
то ль от времени вдали
вместо третьего ребенка
мы собаку завели.

Но продумали до точки –
голова не босиком:
чтобы стало нашим дочкам
позаботиться о ком.

Чтобы сразу привыкали
делать воле укорот,
чтобы смолоду вникали
в материнский обиход.

Замечательная псина –
не безродный пустолай...
Только ради Бога – сыном
ты его не называй.

ПОСАДКА В ШЕРЕМЕТЬЕВО

Самолет, точно белый матерый медведь,
к полынье приникает, дыханье тая.
Но под небом ничто достоверно и впредь,
и тотчас полынья замыкает края.

И – как будто домой по озерному льду
баснословного тащит рыбац судака.
И волочатся перья, и хвост на ходу
снеговые разглаживает облака.

А вдали – берега. А вблизи – острова. ◇ ◇
Но тяжелую рыбину клонит ко сну:
облака обволакивают слова,
и тягучие капли скользят по окну.

Протекли. Проступили. Спокойна вода,
и недвижим волнистыми гребнями ил.
А под ним – времена, имена, города,
человеческий прах, человеческий пыл...

Приземляется борт. Приближается трап.
Оглушенная рыбина мечет икру.
И автобус, как изголодавшийся краб,
ждется нас на холодном ветру.



Болтаюсь над землей, как поплавок:
ногами в ней, родимой, увязаю,
а головою целю в потолок.
И иногда, не сознавая ног,
из плоти заземленной вылезаю,
и – вянет мысль, и ускользает слог...

Как дух и плоть межкою ни дели,
они ее пересекают снова.
И вновь первопричина и основа
для слова – встреча неба и земли.

Не в том ли вышний промысл Рыболова?



– *Христос воскрес!*

– *Воистину воскрес?*

То нежная ширь небосвода,
то снежные хлопья стеной...

О, Господи – что за погода
на этой седмице страстной!

Порывами стылого ветра
апрель замыкает уста.

Обломана ближняя верба,
сырая дорога пуста.

Ища умозрительных истин,
слабеет душой человек.

И снова покровы очистить
захочется в чистый четверг.

А здравый рассудок умело
противиться не устает
тому, что лукавое тело
в суглинок зерном упадет.



Полжизни миновало, как полшага:
вчера – как лебедь, нынче – в лебеде.

Горит бумага, иссякает влага,
и сладкий мед течет по бороде.

Заплесневела жизненная брага
на городской нечищенной воде.

Обрывки стяга на краю оврага,
коряга в сердце, истина – в еде.

Переварилась юная отвага.
Салага, ум я почитал за благо –
мол, зрячему легко и в темноте.

Молящий обретает без напряжения.
Иду, бродяга, в голове – сермяга,
не ведая, зачем, куда и где.



Есть на году тридцать восьмом
и впрямь убийственное нечто:
зациклясь на себе самом,
охладевающим умом
осознавать, что жизнь конечна.

Что ни ларца и ни дворца,
ни захудалого венца,
и, веруя не до конца
в произносимый Символ веры,
пригубив хлебного винца,
ты уповаешь на Творца
без основания и меры...

Усердные учителя,
взыскуя благородных целей,
сердца нам обострили для
литературных параллелей.

Но, одаренные весьма,
мы в годы юного брожения

читали «Горе от ума»,
не слыша предостереженья.

И толку в параллелях нет:
с души ль воротит, пучит лоб ли –
садясь в любую из карет,
куда поворотить оглобли?



...И никуда от Пушкина не деться.
На клюшку двери, в печь тома – и что ж?
Кобель наш черный, если приглядеться,
чуть мордюю на Пушкина похож.

Не заноси в глумливые бастарды –
священная рассеется гроза,
когда расчешешь песьи бакенбарды
и поглядишь в разумные глаза.

Кто через поколения, однако,
сощуривая цепкие зрачки,
меня припомнит, глянув на собаку?
Ну, разве что напялит ей очки...



Земная твердь, летучий морок,
тяжелый взор, худая весть –
наверное, когда за сорок,
все принимается, как есть.

Спекается сердечный порох,
ржавеет кровельная жесть.
Всей правды в неумных спорах
на истину не перевесть.

И странен крик, и ясен шорох,
с каким во многотомный ворох
твоя хоронится строка.

И не колеблется в опорах
судьба на жердочках и в норах...
Увидим после сорока.



Современный, да не своевременный,
собственную старостью беременный,
в молодые дни самоуверенный,
до поры опоры не искал.

Чая в попечителе мучителя,
избегал догляда попечителя,
а когда не выдалось учителя,
без опоры той затрепетал.

Тишина кругом, дорога скатертью,
и глядят бесстрастно и внимательно
звезды, спутники да облака.

Нынче понимаю чудака,
что отцом любого старика
величает и старуху – мать.



Тяжелый пух Земли
упал на крышу.

Растает или нет?

Тебя не слышу,

но слышу,

как метелица метет.

За стенками шаги

все тише, тише.

Тяжелый пух Земли

упал на крышу.

Смыкаю веки.

Может, рассветет.



Памяти Андрея Зотеева

Что нас держит на зыбкой земли

то в крови, то в грязи, то в пыли

под родимого дома покровом

или родины милой вдали?

В неминуемый час и черед

рухнет дерево, дом упадет

и ведомый неведомым зовом

сын на вечные веки уйдет...

В землю тычется множество ног,

но всегда человек одинок

на слепом сквозняке раздорожья.

И у жизни земной на краю
нечем зябкую душу свою
укрепить, кроме имени Божья.



Рано ли о смерти
мне соображать,
по себе не мерьте —
стану возражать.

Место не готовлю,
сердце не гложу,
земляную кровлю
впрок не горожу.

Но уже из дома,
вытянутых в рост,
проводил знакомых
на лесной погост.

И, скорбя над телом
меж сырых досок,
думал между делом:
мягок ли песок?

Под сосновым корнем
в красном терему
будет ли покойно
телу моему?..

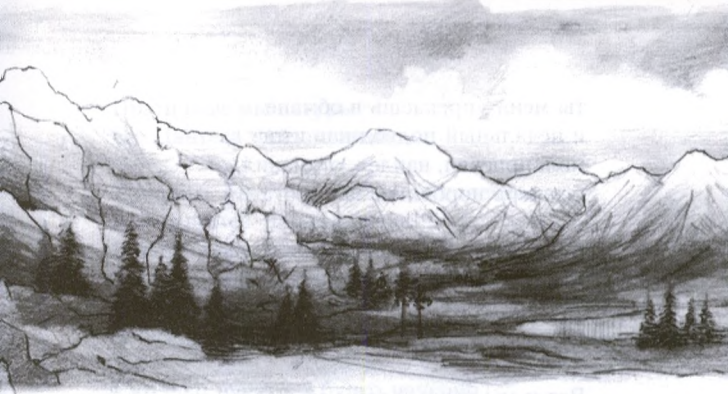
Горестные темы —
суета и прах.
Плачем по себе мы
на похоронах.

Скинутые шапки
поминают всем
про мосточек шаткий
над небытием.

Гнется половица,
и не рассмотреть:
дальше – половина
жизни или треть.

И уже за тридцать
знает человек:
только говорится –
человечий век...

На себе проверьте,
коль душа лежит:
думаешь о смерти –
начинаешь жить.



Тридцать шесть и семь

Поэма

В городке не высоком, не низком
и тебе от рождения близком
ты живешь, не меняя прописку,
от добра не желая добра.
Хоть жена мне – а не декабристка.
Да и незачем, коль севера.

Я и сам полюбил их воочью
потаенную белую ночью,
упоенный печорскою мощью,
и того не стереть, хоть убей,
даже тучами, рванными в клочья
о крюки обнаженных ветвей.

И как будто любовь между нами.
Но, как будто в дешевом романе,

ты меня упрекаешь в обмане
и печальный подводишь итог:
мол, приехал, напелел, отуманил,
а теперь норовишь за порог...

Севера вы мои, севера...
Я на свет родился не вчера.

I

Вот и мы первый тайм отыграли.
Тридцать шесть, как один, миновали,
и подумать о том не пора ли,
где роднее и мягче земля?
Все могилы мои на Урале –
за две тысячи верст киселя...

Молодые пускай отмахнутся,
пожилые пускай усмехнутся,
но мгновение – и запахнутся
от промозглого сквозняка,
если в толще земной ворохнутся
потревоженные века.

Я уже отмахнуться не смею,
усмехнуться – еще не умею,
и осенней порою немею,
глядя, как высыхает трава,
и река, остывшая, темнеет,
и редее живая листва...

Что за обереги и чурь?
Повышение температуры
или просто литература
перехлестывает за край?

Поэтичные мы природы –
все Дантеса нам подавай.

Тридцать семь – и зайдется сердечко,
и мерещится Черная речка,
и картонные человечки,
и возвышенные слова...
И затеплившаяся свечка
перед образом Покрова...

Сколько начато – будто начерно.
Сил потрачено – бог ты мой...
Годы минули – силы схлынули.
Вполовину ли, Бог ты мой?

Или это холодной тьмой –
окаянный тридцать седьмой?
Он у каждого века свой,
если даже век золотой...

Помню похороны отца.
Мы с ним ссорились без конца.
Лей поболее свинца в словца –
лишь бы не потерять лица...

Провожатые вразнобой
сокрушались, что молодой.
Я внимал, головой кивал,
а душою – не понимал.
Но все менее мне пути
до его сорока пяти...

А как маму мою несли,
не хватило ей там земли,
и лежит от него вдали,
и растут над ней бодыли...

На погосте трава густа,
есть в ограде еще места —
для себя, а не для меня
припасла их моя родня.
И расти мне в земле иной
новой веткою корневой.
Над Печорой?
Двиной?
Невой?

II

Поубавилась нынче Россия —
коренные да некоренные...
Сколько ратников пьют стремленные,
сколько путников на посошок —
так шевелит пласты временные
и волосья иной корешок.

Если он до нутра доберется,
все расколется да распадется —
московиты да нижегородцы,
как свою ни вынашивай спесь,
из-под всякой земли отзовется
чудь, земигола, меря иль весь.

Да и сами, сойдясь именами,
мы доньше живем племенами.
И иными когда временами
мы от лучших времен далеки,
кто поможет хотя бы словами?
Корешки, свояки, земляки...

Но куда инородцу податься
и какому народцу поддаться,
за какие колодцы сражаться,

а какие оставить навек?
Где бедою понудишься – братцы! –
и откликнется хоть человек?

Кто, на торную глянув дорогу,
за обитые сталью ворота
перехожему вынесет воду
и не справится, чая вреда:
а какого ты племени-роду
и какого явился сюда?..

В экипаже, по сути, убогом,
упираясь горбом или рогом,
по чащобам, степям и отрогам
материк опоясавших гор –
словом, ныне по русским дорогам
я немало резины истер.

И в земле золотой или медной,
замечательной и незаметной,
поисхоженной и заповедной,
в суете городской и в глуши
и закатной порой, и рассветной
не встречал неприветной души.

Спелых яблок на тракт выносили,
невысокую цену просили,
кто, откуда, куда, спросили
не однажды, а все не за страх –
любопытствующих не судили
никогда ни Христос, ни Аллах...

Не во многом расходятся правды
у неверных и басурман.
Воды Калки и воды Непрядвы
воедино смешал океан.

И единая нам основа
на грядущие времена —
коль не воинство Пугачева,
так Отечественная война.

И когда, выходя на дорогу,
мне потомок ордынских татар
вдруг воскликнет: «Аллаху акбар!»,
я отвечу ему: «Слава Богу...»

Лишь бы в утро лугами росными
не дымами плыла заря,
лишь бы яблони медоносные
не ломились плодами зря...

III

Но и впрямь: что нас гонит и гонит
в неизведанные пути?
Отчего изнывает и стонет
неприкаянный дух взаперти?
Отчего, только вскроются реки
и подсохнет окольная грязь,
бьется птица в живом человеке,
о пруты костяные стучась?

То ли ведренная погода,
то ли ветреная порода,
то ли вечная несвобода
или вешняя колгота.
То ли ветхая изгорода
или дальняя долгота...

От рассвета и до рассвета
нас тревожит и то, и это,
перекатывается лето,

и еще, и еще одно –
все быстрее кружит планета
житевое веретено.

И непрочная нить стекает,
время зыбкое истекает
то поденщиной, то стихами.

Но и звуки – надолго ли?

И яснее моих стихали,
занесенные в ковыли.

Но в ковыльном тугом колчане
и угрюмом лесном качанье,
крике птицы и пса ворчанье
все хранится живая речь.

Не услышать, не устеречь –
задохнется земля в молчанье...

Так, смирясь или руки в боки,
безымянны и одиноки,
мы пройдем в стрежевом потоке
неизмеренной глубины –
доморощенные пророки,
местечковые плясуны...

Но досада буравит темя:
мол, еще остается время,
чтобы ногу – в золотое стремя,
а железного не приму.
Дело вовремя – не беремь,
коль по норову да уму.

Коль поется – без перепева,
безымянно – именовать!
Коль не любится королева,
так любовь короновать!

А поется – в пути раздольном,
а корона – во граде стольном
да в биении колокольном
в раззолоченном во дворце
тяготой на челе невольном
да заботою на лице...

Вот я, милая, и катаюсь –
то ли, гордостью питаюсь,
удоволить ее пытаюсь,
то ли дело себе сыскать,
чтобы силы, пока остались,
суетою не расплескать.

Но столица взирает строго:
я одна, а наезжих много...
Замыкает кольцо дорога,
и опять во дворе стою.
Остается поверить в Бога
и во близость к Нему твою.

IV

Хлопоча поутру на кухне,
ты боишься, что мир твой рухнет,
и полуденный свет потухнет,
хохотнут за окном сычи,
и остынет постель в ночи,
сердце мертвой тоской набухнет.

Или все нажитое – комом,
чтобы в городе незнакомом
снова обзаводиться домом
и чужих узнавать людей,
что привыкли к иным законам –
откровеннее и лютей...

Но покуда ценой такою
не куплю своего покоя.
Хоть порою до паранойи
бессловесная давит глушь,
остаюсь. Я отец и муж
в этом городе над рекою.

Все имеет и цель, и суть,
основанье и приращенье,
если даже столетний путь
завершается возвращеньем.

Все имеет и свет, и след,
осязаемо и упруго,
если двадцать протяжных лет
Пенелопа ждала супруга.

Но, грядущим певцам в пример,
допускать не желая фальши,
хитроумный слепец Гомер
не пропел, что случилось дальше...

Сыктывкар.

Сентябрь – ноябрь 2000 г.



Посредине жизни



Еще юнец глазами старика,
в глазах юнца я стар непоправимо –
как вековое восхождение дыма
в идущие от моря облака.

И ведаю: ничто наверняка,
ничто сполна, вовеки или мимо.
Струится сквозь меня неумолимо
река без родника и поплавка.

Еще за суетою тел и дел
я плотью и душой не охладел,
но понял: мира не переиначить.

Пора любить – росу, траву, людей.
Ведь на последний неизбежный день
из нынешних минуты не заначить.



Когда цыпленком светится мимоза,
и вдохновляет кухонная проза,
и даже приступ остеохондроза
не прерывает сладостного сна,
не требуется метеопрогноза:
на Север возвращается весна.
И поговорку, что про бабу с воза,
оставив на иные времена,
все мужики отныне златоусты...
А если на душе темно и пусто,
достань из бочки квашеной капусты –
она, как наши будни, солона,
зато хранит от авитаминоза...

Горда собою завозная роза
и неприступна, как ее цена.



Лужи по улицам – хоть топись,
зимняя плоть на распыл.
Лед, снегопадова летопись –
точно древесный распил.

Хоть становись археологом,
через эпохи долбясь:
что с горностаевым пологом,
легшим на стылую грязь?

С пологом пуха лебяжьего –
на луговые стожки.

С пологом пуха верблюжьего –
на боевые снежки.

С пологом пуха овечьего,
что все углы округлил,
но бытия человеческого
напрочь не переменил...

Мы их истерли, исшаркали,
перетоптали в слои.
Ты их теперь полушалками
ради словца не зови.

На отдаленном подобии
дымчатой ломкой слюды
увековечены, вдолблены
наши с тобою следы.

Впрочем, не увековечены –
развоплощается снег.
Истинно – очеловечена
нами земля не навек.

Кратко житейское времечко,
но раскопай на вершок:
из прошлогоднего семечка
тянется вглубь корешок.



Найду себя на древе родовом –
ничем не знаменитом, рядовом,
раскинутыми по ветру ветвями
со многими сплетенном деревьями.

Стоят они в снегу или в росе,
как тополя на лесополосе,

а если надо Родине иначе –
как линии электропередачи.

За далью лет смыкаются века,
но твердь земная все еще зыбка.
Не обрета и слабенькой одышки,
уже и сам я вязну по лодыжки...

Пока слышна опавшая листва,
рисую родовые деревья,
чтоб мой отросток в шуме ветровом
нашел себя на древе мировом.



Из Выми да извиистой Вычегды
мне вологи-дороги не вычерпать.

За льняной поволокою Вологда
поит влагою волглое облако.

Синевою тканя, да не вытерга
кораблями да лодьями Вытегра.

Ее устьем живая тропа моя
вытекает в Онежское паморе.

А отсюда водою без волока
хошь – до Волги, а хошь – до Волхова.

Или в Вычегду вновь по Двине...
Север. Воля да вой на волне...

XX ВЕК

*Бабушке моей Надежде Владимировне
и старшей дочери Оле*

Вот сюжет традиционный
со времен Луи Дагера
или красочных портретов
принаряженных инфант:
перед фотообъективом
двое – девочка и мальчик.
У нее – витые кудри,
у него – огромный бант.

Даты нет на обороте –
лишь рекламные медали
да по толстому картону
надпись: «Тереховъ и Сынъ».
В старом Екатеринбурге
это в нескольких кварталах
от Ипатьевского дома,
что еще не знаменит...

Вот еще сюжет сюжетов:
у старинного буфета
смотрит девочка другая
удивленно в объектив.
С нею рядышком – старуха,
И едва ли уловимо
сходство с девочкою первой
на морщинистом лице.

Между девочками теми –
поколения и горы,
панихиды и крестины,
две германские войны.

А прошла – и уместилась
под картонною обложкой
одного фотоальбома
человеческая жизнь...

БАЛЛАДА О ПСКОВСКОМ РАСЧЕТЕ

I

Осиновый лемех податлив огню.
Но ежели храмы дотла, на корню
палят, что ни год, супостаты –
крыть золотом дороговато.

Так, руки свои возложив на мечи,
решили расчетливые псковичи:
негоже казною хвалиться,
когда недалече граница.

Кровавое время, понятный расчет –
которое ныне столетье течет,
а все для иного тевтона
заманчиво русское лоно.

Доныне рубежный конец небогат,
доныне растит и хоронит солдат.
С чего бы над стенами Крома*
огонь золотого шелома?

* Кром – так называется кремль в Пскове.

II

Где светлые токи валдайских равнин
Остзейское поят приморье,
былицу мне сказывал Слава Козмин –
хранитель из Пушкиногорья.

...Едва от земли оторвался Ан-2,
влекомый натугой мотора,
зажглась под крылом золотая глава
Троицкого собора.

Парили лоскутья весенней земли –
пригорки, поля и остожья,
и долго она полыхала вдали,
как вечная искорка Божья.

И только истаяла искра – гляди:
опять огоньки золотые
рассыпала в ясной дали впереди
глава Новгородской Софии...

III

Сегодня опять, что ни город – то храм.
Наверное, стало легко летунам:
не веришь иному прибору –
лети от собора к собору.

От самой границы до самой Москвы.
Но все-таки те псковичи каковы:
казну зажимали в подвале,
а сами, надеждой – летали!

Иначе прервался бы четкий пунктир,
где каждая маковка – ориентир

и переплетение нитей
сословий, судеб и событий...

А купол над Троицей – после войны,
что стоила невероятной цены,
а ныне все реже и глуше
окрепшие трогает души...

А золото класть или лемех –
и нынче зависит от денег.

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

*В пещерах Киево-Печерской лавры со-
храняются мощи преподобного Ильи
Муромца, былины о котором еще в
XX веке сказывали на северной Печоре*

По крылатому полету видно сокола,
видно зиму по осенним овощам...

Илья Муромец был росту невысокого,
хоть и ладно сложен, судя по мощам.

Знать, не все еще рассыпались алатыри
в окияне на Буяне-острову.

Знать, не все бывые русские богатыри
полегли на Калке в черную траву.

Прямохожего пути или окольного
нет давно ему в мирскую суету,
хоть мешается ко звону колокольному
звон трамваев на Патоновом мосту.

И, хоть церковью причислен к небожителям,
хоть о нем доньне повести поют,

прямиком идут паломники к целителям
и, давясь, у их гробов поклоны быют.

Я и сам за три-четыре милых имени
ставлю свечи по церквам Пантелеимону,
но в пещерах поклонился, как отцу,
Илье Муромцу да Нестору-писцу...

Для больного целость родины – не главное,
небылица – связь народов и родов.
Дай вам Бог здоровья, люди православные!
Будь здорова, мать русских городов!

И тебе, Печора, доброго здоровьица!
Разреши, спокойной силы отопью –
пусть во мне и на Руси не переводятся,
как вода твоя, былины про Илью.



Годами превзойдя отца,
надеюсь околеть я
по милосердию Творца
последним классиком конца
двадцатого столетья.

Не то, чтоб нынешних времен
я сердцем не вбираю,
но, памятью обременен,
в столетьи том укоренен
от края и до края.

Пораскатали мужики
лыжню до гололеда,

а я, погоде вопреки,
предпочитаю две строки
классического хода.

Новоманерная толпа
взыскует перфоманса,
а мне привычней Петипа
и отшлифованные па
классического танца.

Кромсает карту докрасна
военное железо,
а мне по-прежнему видна
моя великая страна
до Кушки и Термеза.

Лежит, распоротый живот
руками зажимает...
А новорожденный народ
своим обычаем живет
и не переживает.

Он без почтения глядит
на книжные страницы,
и разум холодно гранит,
и сердце не раскраснит
о новые границы.

Но время, душу бередя,
шепнет: «Да провались ты...»
И, в годы мудрые войдя,
и он услышит шум дождя
и шелест книголистья.

И время остановит бег
в тиши библиотеки,

и оживут двадцатый век
и каждый Божий человек,
ушедший с ним навеки.



Сыктывкару – Усть-Сысольску

Хотя с екатерининских времен –
не гоношись, уездная столица,
паяся автомобилей вереницы
на улицах отвергнутых имен.

Когда твоя черемуха бела
и снова ночь податлива, как вата,
мила ты мне, а все-таки мала
и от Урала все ж далековата.

Твои неодолимые леса
подточены железными зубами,
но и доныне будто между вами
контрольно-следовая полоса.

Но, следуя лесною целиной,
перегрызая горные отроги,
Урал придет чащобами за мной
и приведет железные дороги.

Приветь его хозяйкою. Обвей
руками рек, запеленай лугами
и пробуди стогами и снегами
забытый голос родовых кровей.

Прими его под свой древесный кров.
Рассеяны одною Божьей горсткой,
мы испокон перемешали кровь
славянской группы и финно-угорской.

И если смеси этой не избыть,
не извести крестьянскую породу,
твою непокоренную природу
он пощадить сумеет, может быть...

И как напоминанье для живых,
забывших порку, хлорку и махорку –
торчат осколки старых мостовых,
пробившие асфальтовую корку.



Сколько надумано – не переделаешь,
хоть убивайся с рассвета до вечера,
сколько написано – не перечешь.
Снова и снова Христовое тело ешь,
радуясь прикосновению вечности
под колокольную весть...
Дома посмотришь на книжные полки –
пыль да труха.
Но утыкается в сердце иголка стиха.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Человек ест.
Человек есть.
Человек весь –

человек-весь.
То в глазах мед,
то в глазах лед.
То слова мнет,
то слова льет.
То в душе лад,
то в душе мрак.
И на кой ляд?
И какой враг?
Человек – плес,
человек – лес.
Человек ест.
Человек есть.



Нине Ягодинцевой

Зачем переводим бумагу, чернила и дух,
гляся при народе, что не говорят и меж двух,
что даже огню, океану, песку, тростнику
иные едва ли отважатся высказать вслух?

Спроси, и тебе не ответят огонь и вода,
зачем они движутся из никогда в никуда,
зачем этот ветер поет старику и ростку
на флейте своей камышовой года и года...

На краткие сроки нам чуткие души даны –
в едином потоке упругое тело волны,
тепло очага и мерцание тонкой свечи
назвать...

И назваться, себя от песка отличив.



На ступенях пушкинского дома
я сижу. Июльская истома
разлита над Соротью. Вода,
льющемуся времени согласна,
движется вседенно и всечасно,
размыкая наши невода.
Тишина в Михайловской селитьбе –
уловить ее да утолить бы
жажду постоянства навсегда.
Но вода течет неумолимо,
тишина опять неуловима.
Истая душа неуголима,
сущая на долгие года
на ступенях пушкинского дома...



Без поэта земля не жива.
Острый лемех вонзается в чрево,
и зародышей нового сева
в нетерпении ждут жернова.
И огнем полыхает очаг,
запекается хлебная корка,
и село притворяется – горько! –
и детей зачинает в ночах.
И рождаются дети. Бог весть,
что падет им на тонкие плечи.
На людей тоже мельницы есть
да свои, специальные печи,
да погосты, коросты, дожди,
тьма кромешная, дым коромыслом...
Должен кто-то, сама посуди,
наполнять возрождение смыслом.



Чем печальнее жизнь, тем желанней она.
Но желанию жить и любить вопреки
соревнуются лысина и седина,
кто पहले зачислит меня в старики.

А вода – глубина, а земля – целина,
небо – далее вытянутой руки.
И все реже спасает глаза пелена,
и все чаще в глазах годовые круги.




И не слишком длинна, и не слишком ценна –
как рубаха моя вологодского льна,
что купил по дорожному случаю.

А надену – и снова нова старина,
и цепка борона, и легки стремяна,
и поскрипывают уключины.



Держа в ладонях голову свою,
гляжу в себя – себя не узнаю:
принц или нищий? Гамлет или Йорик?
Неужто и взаправду одна
скатиться может эта голова,
когда ее снесет лихой топорик?

Тела – не глина, люди – не горшки,
а после все едино – черепки:
то ль мостовая, то ли черепица.

Смешки, грешки, вершки и корешки,   
как пенные растают гребешки,
когда людская память отстоится...

Но сомкнутые пальцы разведу –
дудит опять весна в свою дуду,
земле вещая возрожденье плоти.

Вращаются со мною вновь и вновь
любовь и кровь, редиска и морковь
в едином мировом круговороте.

И нет щита. Тщета и нищета.

Но в трепете священном не чета

Шекспиру я – до сбора урожая.

Могу жевать. Могу переживать.

Могу живые губы целовать.

И голову на место водружаю.



Не до ста или девяноста –

хочу дожить до той поры,

когда и мига станет вдосталь

для упоительной игры,

когда в уловленном движении

листка, цветка и стебелька

ты различаешь на мгновенье

переплетенные века,

но, словно маленький ребенок,

над вековой глубиной

не сожалеешь, что так тонок

плодоносящий слой земной.



Я мускулы слова ращу и ращу,
не чтобы сурово свивали пращу,
но с веком и совестью вровень несли
тяжелые повести отчей земли.

Но даже двуглавая мышца глуха.
Спекается лавою тело стиха,
и слову, не властен разнять целину,
корявые пальцы ломаю и мну.

А годы идут, прикипая к лицу.
А пчелы несут золотую пыльцу.
И хочется выжить и в жаждущий рот
медовое золото выжать из сот.

Но замыслы вышнего града чисты,
и соты, что нам достаются, пусты.
Хотя бы из воска, пускай сгоряча,
что грубо и плоско, то станет – свеча!



Посредине жизни, посреди
поля, что недолгим оказалось,
всем, что не сбылось и не связалось,
ты живой души не бреди.
Не считай, от этих средин
многие ль дожили до седин,
много ли тебе еще осталось.

Но покуда осызает плоть
и душа не вовсе отвердела,
совершай назначенное дело...
Остальное ведаёт Господь.



Слеза на литию
и тихие слова.
Гроза на Илию
и снег на Покрова.
За оттепелью вновь
мороз на Рождество.
Безгрешная любовь,
святое торжество.
И новая грядя,
и новые труды,
и под корою льда —
биение воды...
Да будет так, пока
роса, гроза и снег.
Покуда облака.
Покуда человек...



В Михайловском мы пили молоко...

I

Оставь друзей, тропкою выйди в поле,
где бродит конь по вымокшей траве,
и улови предощущенье воли,
разлитое в небесной синеве.

Минуй дома – крестьянские, живые,
заборы, огороды, тополя...

И следом – валуны сторожевые,
святая, заповедная земля.

Там лес и дол полны свободной речи,
прозрачные озера глубоки,

и на полянах расправляют плечи
тугие лукоморские дубки

и впитывают грудью без опаски
на многие столетия вперед

стихи и удивительные сказки –
все, чем народ отчаянный живет.

II

*«И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит...»*

В Михайловском мы пили молоко
и никого не хаяли при этом –
кто хоть с одним якшается поэтом,
уверует в такое нелегко...

Доили мы и бешеных коров.
Но и опять – неповторимый случай –
на дюжину собратии писучей
хватило поллитровки будь здоров...
А вот июньской ночи было мало.
Густой туман клубился варенцом,
над Савкиной горой и Маленцом
луна осоловелая вставала
и пялилась на наше торжество,
как будто вопрошаючи: с чего?
И ничего мы ей не объясняли,
лишь за кормильца стопки подымали
с хранителями памяти его...

И что бы ни творили со страной,
жива его поэзия в народе,
пока еще поэты под луной
в Михайловском ночами колобродят!

III

Над Соротью высокая трава
и свежий ветер клонит деревья,
и кажется: степные табуны
несутся на литые валуны.
И новая несчетная волна

рождается упруга и вольна
и, подхватив стремительный набег,
его бросает с берега на брег.
Мгновение, биение плотвы –
и вновь перетекание травы,
а мерное движение воды
переправляет новые ряды...

Недолго до ивановской зари.
Косою размахнутся косари,
и этот нескончаемый полет
отточенное лезвие прервет.
И станет одинокою вода,
и скакунов погонит в никуда –
теперь они до будущей весны
волнами пребывать обречены...

Но кровное теченье трав и рек
собою продолжает человек,
когда, неясной жаждою влеком,
ее он утоляет молоком
и плещется на белизну листка
летучая живучая строка.

IV

Лазурь небес – оптический обман,
чем выше – тем Вселенная черней...
А в нашем, русском космосе – туман,
причудливые выверты корней,
часовня на горе, обетный крест,
до берега тропинка через луг...
И все, что открывается окрест,
окинешь враз, а вымолвишь – не вдруг.

Поэзия, свобода – не мура ль,
когда сердца и дни все холодней?
Но стынешь, как японский самурай
в саду перед безмолвием камней.
Чего бумагу попусту марать,
душевный жар пуская на распыл?
Но по России каждый – космонавт,
покуда благодати не пропил...

И хочется открыться и вобрать,
чтоб видеть после, будто наяву,
озерную распахнутую гладь,
упругий ветер, гибкую траву,
омытую рассеянным дождем
дорогу и запущенный погост,
и этот несказанный окоем,
и небо – высоченное, до звезд...

V

«Нет, весь я не умру...»

В Михайловском тебя я не застал,
Тригорское подавно опустело...
Четырехгранный гладкий пьедестал
прижал твое простреленное тело.

Твоя душа, свободна и легка,
покинула затисканное слово,
и только бронза смотрит свысока
в людское мельтешение Страстного...

Но связь времен распалась не совсем
и комом перегородила глотку:
помилуй Бог – мне скоро тридцать семь!
Еще могу писать как одногодку.

Уже могу, зарыв отца и мать,
за долгими тяжелыми снегами
черствеющей душою понимать,
что пело в богохульном Вальсингаме.

Уже я видел, скольких обожгла
бессмыслица бунтарского размаха
и как невыносимо тяжела
узорчатая шапка Мономаха.

И, глядя в эти спелые поля,
я ведаю теперь, какая сила,
какая вдохновенная земля
Француза* русским духом напоила!

VI

А места в сельце Михайловском – не сорные!
Но восторженность людская недолга:
ко всему привыкнуть можно – даже к Сороти,
что петляет, завивает берега.

Поживи, останься – трудником, не баловнем,
и обыденными станут навсегда
колыханье древних елей Ганнибаловых
и молчанье Ганнибалова пруда,
крики цапель над раскрытыми калитками,
над осокой жавороночья молва
и облепленная темными улитками
недвижимая подводная листва.
Помаша косою, лопатой или ломиком,
прирасти к мужицким крепостным корням,
и тебе обрыднут шалые паломники,
что мотаются по здешним деревьям.

* Лицейская кличка Пушкина.

Им под шум ветвей и кваканье лягушкино
на вечерней и на утренней заре
все мерещится тень Александра Пушкина.
И ему покоя нет в монастыре...
Ах, места в сельце Михайловском – бессонные...

VII

Возвращаться обычай плох –
камни медленны, люди скоры.
Но, когда мне позволит Бог,
я вернусь во Святые Горы,
и от времени отрешусь,
тишиною лесной несомый,
и склонюсь, и перекрещусь
на Михайловскую часовню...
И пойду не спеша, дыша,
и до берегового края
распахнется опять душа,
всю округу в себя вбирая.
И прислушается дочь,
оглушенная городами.
И разгонят крылами дождь
цапли серые над прудами...

*Михайловское – Переделкино – Сыктывкар.
Июль – октябрь 2000 г.*



Осенние журавли

Переводы стихов финно-угорских поэтов

АЛЬБЕРТ ВАНЕЕВ, Республика Коми

ЕСЕНИН

Как листвою, осенен и осяян
я стихами с мальчишеских лет.
За словами «Россия», «Есенин» –
словно рощи березовой свет.

Был исхлестан свинцовой плетью –
мол, отравы, гнилое вино,
но осталось сиреневой цветью
все, что сердцем его рождено.

Недоступен недобрым укорам,
врачеватель увечной судьбе,
он идет по российским просторам,
привечаемый в каждой избе.

Свет его не засыпать золою,
не сковать ледяной немотой –
в небе ясном над Коми землю
он сияет высокой звездой.

Как листвой, осенен и осеян
я стихами с мальчишеских лет.
За словами «Россия», «Есенин» –
словно рощи березовой свет.

РЯБИНА

Сколько спелой рябины – на диво:
деревца разалелись до пят,
берег залит пунцовым разливом,
лес прохладным пожаром объят!

Богом щедрая осень дается –
то-то рябчикам радости: знать,
им до самой весны не придется
горьких почек с березы щипать.

В леденелую кисть на морозе
сладким соком впитается снег.
Всем достанутся звонкие гроздья –
не спешите их срывать, человек!

Сколько спелой рябины – на диво:
деревца разалелись до пят,
берег залит пунцовым разливом,
лес прохладным пожаром объят!



Когда октябрь снежинки станет
бросать холодной рукой
и осень горевать устанет
над остывающей рекой,

тогда понюхает лисица
прозрачный воздух от реки,
но схорониться ухитрится
продрогший заяц в травники.

И выйдет лось, на снег пушистый
ступая сыто, тяжело.

И векша цвета ели мшистой
рванется в теплое дупло.

В такую пору кровь играет,
зовет охотничья труба...

Но безнадежно зарастает
в лесах отцовская тропа.



Родную землю чувствует и птица,
не говоря ни слова о любви,
когда весною к северу стремится,
заслыша голос родины в крови.

А в нынешнем сердечном перекале
стыдят меня – вполголоса и в крик,
что отчины своей не упрекаю,
не поминаю злобой материк.

До смертного конца не расплатиться
за хлеб и соль земли. И от и до
меня поймет ликующая птица,
в краю родимом вьющая гнездо.



Годы проступают сединою,
но снега еще не замели.
Сдержаны сердечною весною
холода осенние вдали.

Хочется услышать под собою
наста подмороженного хруст.
Хочется безумной плясовою
разогнать томительную грусть.

Хочется продымленной ушницы
вечеру поесть над озерцом
и добыть разбойницу-куницу
на тропе, завещанной отцом.

Время, разбросавшее поводья,
о спокойном шаге не молю
и опять готовлюсь к половодью —
лодку крепко-накрепко смолю.



Узнавая всему имена,
в детстве мы ошибаемся редко:
сытен хлебушек, соль солона
и горька чернобокая редька.

Но с годами, прилежно учась,
я таким небылицам поверил,
что и ясные вещи подчас
перекошенной меркою мерил.

Сколько слов оказались пусты,
но доньше гнетут тяготою...
И пошел бы своею тропею.
да свинцом сапоги налиты.



Сойдет закат на дремлющие ели,
сгустится воздух, сгладятся следы –
услышишь травы, шепчущие еле,
и тихое движение воды.

В такие просветленные мгновенья
восходит мысль из бесконечной мглы,
и разрешает давние сомненья,
и разрезает древние узлы.

И НЕ БЫЛО СЛОВНО ТЕПЛА...

На взгорье под северным ветром
береза раскинула ветки –
тиха, одинока, светла.
И не было словно тепла
на взгорье под северным ветром.

Береза раскинула ветки,
сомкнув в ожидании веки.

Не снега бы ей по ночам,
а ливня по белым плечам...
Береза раскинула ветки.

Тиха, одинока, светла.
А в будущем – стылая мгла.
Так девушка плакать готова,
не слыша влюбленного слова –
тиха, одинока, светла.

И не было словно тепла.
И словно морозы – дотла,
а сам я ледышками ранен.
И сетую осенью ранней:
и не было словно тепла...



✓ В Сыктывкаре мелкий дождь идет
и не остановится, похоже.
Глянцевая асфальтовая кожа...
В Сыктывкаре мелкий дождь идет.

Сеют-посевают небеса,
изнывают люди под зонтами.
Медленными шествуя фронтами,
сеют-посевают небеса.

Плачет отсырелая листва,
отрясаемая волглые ресницы.
Птицы перелетной вереницы...
Плачет отсырелая листва.

Трудно влажной моросью дышать,
созерцая серые пейзажи.

Если воздух одноцветен даже,
трудно влажной моросью дышать...

В Сыктывкаре мелкий дождь идет,
и одна лишь радость у народа:
скоро переменится погода
и сухой морозец упадет...

СКВОРЕЧНИК

Над избою на тонкой жердиночке
раскачала скворечню метель,
и впиваются колкие льдиночки
в опустелую колыбель.

Под холодного ветра порывами
издает она жалобный стон,
и рыдает протяжно, с надрывами,
на один нескончаемый тон.

Ей до птичьего гомона вешнего
не воскреснуть – такая судьба...
И под эту мерзлой скворечнею
опустелая стынет изба.



В заиндевелом тулупе
парма, седа искони,
дремлет, сугробы нахлопив
на узловатые пни.

Вихри ведут хороводы,
стынет морозная мгла.
Долго еще от природы
мы не дождемся тепла.

Долго заснеженным елям
видеть угрюмые сны.
Долго клубиться метелям
в мертвенном свете луны.

Иней да хищные очи
множат скудные огни
в самые длинные ночи,
в самые краткие дни...

Но лишь звезда Вифлеема
снова выходит из тьмы,
солнце от сонного плена
снежные будит холмы.

ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ

Черных бабочек стая густая
омрачит расцветающий луг,
и тотчас пелена грозовая
из-за леса накатится вдруг.

И громовые стрелы с размаха
понесут на зыбучую твердь
одному – дуновение страха,
а другому – нежданную смерть...

Столько бабочек нынче порхает
над лесными полянами – тьма!

На рассвете они прилетают
похоронками в наши дома.

И доносится в горькую пору
с пограничной лихой стороны,
полосуя людей без разбору,
черный ливень гражданской войны.

1996 г., август



Снег идет.
Мокрый снег.
Крупный снег
тяжело мне на плечи ложится.
Наобум, наотрез, на разбег
половина истрачена жизни.

Мы в угрюмое время живем,
словно греем ледышки губами,
и наверх по ступеням идем,
пока оземь не стукнемся лбами.

Но земного исхода не жду,
не желаю сдаваться печали.
Хоть на трижды двадцатом году –
мы по-прежнему в самом начале.

КАПЛИ РОСЫ

Лирические миниатюры



На родине и сердце чаще бьется,
оттаивают мысли и мечты,
и даже ель угрюмая смеется...
А на чужбине в тягость и цветы.



Виновен – и в горле ни звука,
и ночи не спишь напролет.
Беззубая совесть безрука,
а колет, кусает, грызет.



Не скажу, кто друг мне или враг,
если не изведу сполна.
Бел зайчишка мехом, да недорог.
И черна куница, да ценна.



Гнездовье журавлиное найдешь –
недолго, примечают, проживешь.
Все более кладбищенских полей.
Откуда в мире столько журавлей?



Переживая боли и тревоги,
я не болтал о раненой душе.

Не плачущий горюет больше многих,
а тот, кто слезы выплакал уже.



Тому, кто не дарует людям света,
и отсвета спасительного нет.
А доброта не требует ответа,
но эхом возвращается в ответ.



Ой, жура-жура! Голос твой сломался,
далекий возвещая перелет.
Кто в небо никогда не подымался,
тот думает: журавль не устает.



Как летучая в небе зарница,
мысль родится в пустой болтовне.
Но лишь та, что в молчанье творится,
вам напомнит потом обо мне.



Три сосны, островок на реке.
Но казалось – плывем в океане...
Все минувшее нынче в тумане,
кроме сосен на том островке.

Перевод с коми языка.

НИКОЛАЙ АБРАМОВ, Карелия

ОСЕННИЕ ЖУРАВЛИ

Вечер снегом посыпает
бурые овраги.
А душа не засыпает,
просится к бумаге.
Тихо. Только журавлиный
зов под облаками.
Долго им тянуться клином
вслед за жожаками.
Дай им Бог дороги легкой,
чтобы долетели,
чтобы над землей далекой
звезды разглядели,
чтобы в небе звезды эти
ярче засверкали,
чтобы люди на рассвете
в сонных не стреляли...
Над лесами, над полями
на чужие воды
улетают журавлями
прожитые годы.
Много ль доброго творю я –
то Господь рассудит.
Опыт голову хмельную
мудростью остудит...
Мне в лицо бросает ветер
колкие снежинки.
Вот уже и тридцать третий
растворился в дымке...



Я сегодня на рассвете захмелел немножко
от черемуховой цвети под моим окошком.

Словно бабы над рекою раскатали ситцы,
а гляжу, как пью вино, я – не могу напиться.

Не кривись, дорожка, горько на хмельные речи,
проводи меня под горку девушке навстречу.

Под черемуховой кроной я не буду грубым,
лишь руками руки трону и губами губы.

Но, дыша дурманным зельем, оба не спасемся.
Повалю ее на землю, теплую от солнца.

И пускай потом узнают, примутся смеяться –
нам никто не помешает всласть нацеловаться!

Коротка пора хмельная в наших окоемах.
Но сегодня я гуляю в белизне черемух!



Здесь – мои леса,
озеро мое.

Вижу, где лиса ладила жильё,
земляничный цвет,
глухариный ток,
да медвежий след,
да лосиный лог...

Чистая вода,
отчие места –

И рождаются иные надежды —
на иных, настоящих людей...

На затоне целуются утки
и скользят по безмолвию вод.
Их недолгие радости чутки...
Что их темной полночью ждет?

Сера утица вздрогнет от выстрела,
упадет на чужом берегу.
Сизый селезень сердцем не выстынет.
Он вернется... А я — не смогу.

ЗЕЛЕНАЯ СКАЗКА

Лучшая повесть на свете —
та, что светла и правдива...
Лег я зимой на повети —
утром весна разбудила.

Глядь — в заревой опояске
здесь, на родном косогоре,
бродит зеленая сказка
из тридевятого моря...

Как на рассвете равнины,
мысли мои просветлели.
Сестрами нынче родными
кажутся сосны и ели.

Здесь мои звездные кровы,
что сыновьям оставляю,
здесь рождено мое слово,
что раздаю без конца я.

Здесь мне на светлые росы
долго кукушка пророчит
белые ветви березы,
озера синие очи.

Перевод с вепсского языка.

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ, Карелия

ЛЕСА КАРЕЛИИ

Карельские чащи
не выше, не чаще
соседских, а все же
нет сердцу дороже —
одетых весною
веселой листвою,
омытых живою
водой дождевою,
осеннее золото
щедро палящих,
серебряным инеем
тихо звенящих.

Глухарь затокует —
душа затоскует:
есть пища в охоте
не только для плоти.
От леса — укрома
отцовского дома,
березовый веник,
парная истома,
да легкая лодка,

да кадь для засолки,
да песенный кантеле,
ждуший на полке.

Карельские чащи –
той ягоды слаще,
что в юности брали,
мы не отыскали.
Тропа запропала –
давно не ступала
здесь та, что со мною
ее протоптала.
Еще бы хоть раз
до заветной поляны
дойти мне, промокнув
в росе по колени...

Который десяток...
Листвы позолота...
А в памяти вновь –
ощущенье полета.

ОЗЕРА КАРЕЛИИ

В наших озерах –
галечный шорох,

мамина песня,
ширь поднебесья,

милые очи,
белые ночи,

темные бури,
парус в лазури,

грозы да росы,
снег да торосы...

Тропка, что леска,
до перелеска.

В наших озерах –
дымка на зорях.

Тина, стремнина –
все воедино:

утлые лоды
на полноводье,

девичий пояс,
свадебный поезд...

Ночью – звериный
вой над равниной.

Скудная мера,
вечная вера...

В наших озерах –
мысы в дозорах,

камни, проливы
неговорливы,

шепот камышин
тоже неслышен...

В тихом покое
счастливы двое...

Солнце на склоне.
Берег в затоне

жметя над бездной
к тверди небесной.

Шумное устье,
вереса кустик —

там, словно заповедь,
дедова заводь,

давшая роду
рыбу и воду.

Снова до пота
мужья работа.

Брошены сети —
жди на рассвете:

скоро водица
засеребрится...

Нашему краю
края не знаю.

ДЕТЯМ ДЕРЕВНИ

Речка свежестью нальет
пригоршни, как чашу,
и осветит небосвод
всю деревню нашу.

Дым завьется налегке,
шевельнутся грядки,
и проступит на песке
след ребячьей пятки.

И послышится коса
на росистом склоне,
и живые голоса
в опустелом доме...

Ой, ты, родина добра,
ясные озера!
От живого серебра
посветлели взоры.

Над макушкой птицы вьют
солнечные сети...
Так о родине поют
все на свете дети.

ЦВЕТОК

Мимоходом, просто, не со зла
девочка ромашку сорвала.
С лепестка слезинка побежала,
беззащитный стебель обожгла.

Скользкая тропинка солона,
болью отзывается она.
В умиранье сладостного мало –
смерть обидной горечи полна.

В незаботном шуме ветерка
различи рыдание цветка –

и короткий век его прекрасный
да не оборвет твоя рука.

Точно так же – не переменить –
жизни человеческой рвется нить:
ненароком, невзначай, напрасно.
А еще, казалось, жить да жить...

Лишь однажды драгоценный вздох
Бог дает – и принимает Бог.

МОЛИТВА

Слово лучшее в сердце оставлю
и молитвою дух растревожу,
и родимую землю восславлю:
помоги ей, о Господи Боже!

Пусть в озера ее на рассвете
вечно смотрятся ели сторожко,
свежей рыбою полнятся сети,
а болотные кочки – морошкой.

Ей, политой и потом, и кровью,
на планете нет места иного...
Да звенит под родительской кровлей
вековое карельское слово!

Да летят и летят по народам
«Калевалы» старинные руны!
И под чистым ее небосводом
да не рвутся у кантеле струны...

Перевод с карельского языка.

СОДЕРЖАНИЕ

«Не упрекну неулыбчивой родины...» 5 ✓

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

«Осень бросила казну...» 6

Рождение огня 7

Полнолуние 7 ✓

«На Севере тучи низки и покаты...» 9

София Киевская 10

Ленинбург 11

«Придя на старое кладбище...» 11

В московском театре 11

Свет 12

«Щетинясь против мистики ежом...» 13

«По вечерам она доила птиц...» 14

На закате 14

В НАШЕМ ДОМЕ – НЕБЕСА

«Снова ночи белы, лето молодо...» 16

«Заря догорает, а город по улицам бродит...» 17 ✓

«Такие ночи жалко просыпать...» 17

«Твой поцелуй подобен ласке вербы...» 18

«Уж полчаса до полночи. Анапа...» 18

«Ты смотришь на море с тоской, купаешься несмело...» . . . 19

«Зима не хочет почивать...» 20

Северная картофельная 21

«День сошел наполовину...» 22

«Плескава – ласковое слово...» 22

«Еще не прочитанным свитком Плутарха...» 23

«От нынешних рассказчиков вполне...» 24

«Ой, черника-вечерника...» 24

«Живем недолго...» 26

«По ночам поэты давят лбы...» 26

«За годом год, за словом слово...» 27

«В нашем доме потолки высоки...»	27
«Ночь еще не бела...»	28
«Ни заплатами, ни латами...»	29

НИТКА РЯБИНОВЫХ БУС

«Капелью прозвенит весенний час...»	31
«Жизнь моя все дальше от начала...»	32
«Бабым летом, на сытой ярмарке...»	32
«Неумолимость перемены дней...»	33
«Дети в подвижные игры играли...»	33
«То ледоход, то снова ледостав...»	34
«Тридцать три – не расятие. Просто людская гордыня...»	35
«На последней подушке, в беззвездную ночь отходя...»	36
«За уроном – урон.»	36
«Пока душа не просит воли...»	37
«Страшусь, что дети вырастут. Страшусь...»	37
Бальзам	38
«У пристани Хароновой ладьи...»	39
«Ты словами наотмашь разгневанно лупишь...»	40
«О, маленькая женщина моя...»	40

ДЕТИ КАЛАНХОЭ

«Рассвет все медленней новится...»	41
«Ты – не Та. Ты из плоти и крови...»	41
«Снова потратили в отпуске тысячу баксов...»	42
«Войду в литую воду, поплыву...»	43
«Деревья снова в куржаке...»	43
«Ничем само себя не меря...»	44
«Время сызнава глухое...»	45
«То ли времени вдогонку...»	46
Посадка в Шереметьево	46
«Болтаюсь над землей, как поплавок...»	47
«То нежная ширь небосвода...»	48
«Полжизни миновало, как полшага...»	48
«Есть на году тридцать восьмом...»	49
«...И никуда от Пушкина не деться...»	50
«Земная твердь, летучий морок...»	50

«Современный, да не своевременный...»	51
«Тяжелый пух Земли...»	52
«Что нас держит на зыбкой земли...»	52
«Рано ли о смерти...»	53

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И СЕМЬ. Поэма	55 V
------------------------------	------

ПОСРЕДИНЕ ЖИЗНИ

«Еще юнец глазами старика...»	64
«Когда цыпленком светится мимоза...»	65
«Лужи по улицам – хоть топись...»	65 ✓
«Найду себя на древе родовом...»	66
«Из Выми да извиистой Вычегды...»	67
XX век	68
Баллада о псковском расчете	69
Илья Муромец	71
«Годами превзойдя отца...»	72
«Хотя с екатерининских времен...»	74
«Сколько надумано – не переделаешь...»	75
Тайная вечеря...	75
«Зачем переводим бумагу, чернила и дух...»	76
«На ступенях пушкинского дома...»	77
«Без поэта земля нежива...»	77
«Чем печальнее жизнь, тем желанней она...»	78
«Держа в ладонях голову совою...»	78
«Не до ста или девяноста...»	79
«Я мускулы слова ращу и ращу...»	80
«Посредине жизни, посреди...»	80
«Слеза на литию...»	81

В МИХАЙЛОВСКОМ МЫ ПИЛИ МОЛОКО	82
-------------------------------	----

ОСЕННИЕ ЖУРАВЛИ

Переводы стихов финно-угорских поэтов	88
---------------------------------------	----

Литературно-художественное издание

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ РАСТОРГУЕВ

ДРЕВО

Стихи

Редактор *А.В.Суворов*
Художественный редактор *Г.Н.Шарипков*
Технический редактор *З.А.Поздеева*
Компьютерная верстка – *А.В.Кетова*
Корректор *О.М.Плоскова*

КР № 0034 от 03.03.97

Подписано в печать 15.11.2002. Формат 70×90^{1/32}.
Бумага офсетная. Шрифт «Peterburg». Печать офсет-
ная. Усл. печ. л. 4,1. Уч.-изд. л. 4,2. Тираж 1000 экз.
Заказ № 7410

Коми книжное издательство
167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 229

Лицензия на полиграфическую деятельность
Серия ПД № 00107 от 09.11.1999 г.

Отпечатано в ОАО «Коми республиканская типография»
167982, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70

15



Коми книжное
издательство
2002